

упрек в умолчании беглого, но очень важного упоминания моего предшественника в вопросе, послужившем темой настоящей статьи. Приводимый в заметке материал подтверждает мое предположение о том, что Пушкин на импровизациях Лангеншварца весной 1832 года присутствовал, а гипотеза о бытовом первоисточнике повести встречается в лице Витберга новую поддержку (см. «Северный вестник» 1895, X, стр. 316—317).

За ценные указания приношу свою искреннюю благодарность Л. Б. Модзалевскому, Б. В. Томашевскому и Д. П. Якубовичу.

*Е. Казанович*

## VIII

### Александр Пушкин

Историко-литературная справка <sup>1</sup>

Вступительная заметка, перевод с польского и примечания *С. Басова-Верхоянцева*

Важна всякая, даже самая незначительная подробность, касающаяся Пушкина, его жизни, творчества, его взглядов. Особенно, если подробность, хотя бы и из вторых рук, исходит от современников, лично знавших великого поэта. К такого рода материалам должна быть отнесена статья Л. Реттеля, совершенно не затронутая нашими пушкинистами. Находится она в пятом томе полного собрания сочинений Адама Мицкевича, изданного в Париже в 1880 году.

Леонард Реттель — один из видных деятелей польского восстания 1830 года. Входил, между прочим, в состав небольшой группы революционеров, пытавшихся арестовать в Бельведерском замке наместника Царства Польского — великого князя Константина Павловича (брата Николая I). Известно о Реттеле, что был он другом Мицкевича и вместе с ним, находясь в эмиграции, подпал впоследствии под влияние мистиков. По убеждениям республиканец и социалист (утопист в духе Сен-Симона).

Принимая участие в упомянутом издании сочинений Мицкевича, Реттель ввел в V томе раздел «Александр Пушкин», состоящий из двух статей. Одна принадлежит самому Мицкевичу: пространный некролог — «Александр Пушкин» с оценкой творчества и личности нашего поэта (появился первоначально на французском языке). Другая — сопровождающая эту статью — написана Реттелем, переведшим некролог на польский и снабдившим его своим вступлением: «Предисловие переводчика».

Надо, однако, сказать, что Реттель лично с Пушкиным никогда не встречался. Пишет о нем исключительно со слов Мицкевича, слабруя слы-

<sup>1</sup> Статью польского писателя Л. Реттеля мы печатаем с некоторыми сокращениями, оставляя в ней всю фактическую сторону, касающуюся двух гениальных поэтов — Пушкина и Мицкевича.

шанное собственными размышлениями и выводами. Да и говорит не столько о Пушкине, сколько о Мицкевиче, вернее, о пребывании польского поэта в ссылке в России.

Но и с такими оговорками статье Реттеля, как ниже увидим, нельзя отказать в известном интересе. Мало того, она снова и снова поднимает вопрос, казалось бы уже решенный: каковы же на самом деле были политические убеждения Пушкина в эпоху 30-х годов?

Вопрос особенно напрашивается при сопоставлении статьи Реттеля с некрологом, набросанным Мицкевичем. Надо заметить, что когда-то некролог этот (в переводе с французского) прошел и в нашей печати. Не имея под руками ни французского оригинала, ни русского его текста, пользуясь польским, принадлежащим Реттелю. Здесь привожу только заключительную часть статьи Мицкевича, необходимую для проверки выводов Реттеля:

«В эпоху, о которой мы говорим, Пушкину было всего 30 лет, и он прошел только часть своего пути. Те, кто знал его тогда, отмечали в нем великую перемену. Вместо того, чтобы жадно пожирать романы и започинные газеты, исключительно его когда-то занимавшие, он предпочитал слушать народные сказки, песни и сказания о прошлом своей родины. Казалось, он навсегда потерял интерес к чужому, пускал корни в русскую почву и срастался со своей родиной.

В суждениях его, которые становились все серьезнее, уже можно было заметить зародыши будущих творений. Любил обсуждать высокие вопросы — религиозные и общественные, о которых его землякам и не снилось. Ясно было, что свершался в нем какой-то внутренний переворот. Как человек и как художник, он несомненно изжил бы прежние настроения или, вернее, нашел бы свой собственный путь. Он перестал даже писать стихи, напечатал только несколько исторических работ, которые можно рассматривать как некую подготовку. Но к чему же он готовился? Готовился ли он поднять свою эрудицию в области истории? Конечно нет.

Он свысока относился к авторам, которые писали без определенной цели. Не любил философского скептицизма и артистического холода, какой видел в Гете. Что делалось в его душе? Зрел ли там в глубине тот дух, что живет в творениях Манцони<sup>1</sup> или Пеллико,<sup>2</sup> оплодотворяет размышления Томаса Мура,<sup>3</sup> который умолк также? Может быть, мысль его работала, чтобы воплотить в себя идеи Сен-Симона, Фурье? Не знаем. В его воздушных стихах, в его разговорах, обозначались уже следы обоих этих направлений.

Как бы там ни было, я убежден, что его поэтическое молчание являлось счастливым предзнаменованием для русской литературы. Я надеялся, что скоро Пушкин выступит как человек совершенно новый, зрелый опытом. в полном расцвете своих способностей, окрепший в продолжительной вну-

<sup>1</sup> Манцони Александр (1784 — 1876) — итальянский поэт, патриот. Выступал вначале в духе свободолюбия. Впоследствии впал в мистику. Стоял за союз демократии с церковью.

<sup>2</sup> Пеллико Сильвио (1789—1854) — итальянский поэт, карбонарий. По приговору суда провел много лет в заключении. Особенно известен своей книгой «Мои тюрьмы».

<sup>3</sup> Мур Томас (1779 — 1852) — английский поэт-романтик. Лучшее его произведение — «Ирландские мелодии», отразившие чувства и стремления порабощенных ирландцев.

тренней работе Все, кто знал его, разделял мои ожидания. И один пистолетный выстрел разбил надежды.

Пуля, сразившая Пушкина, нанесла страшный удар всей интеллигентной части России. Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше одного раза мог родиться человек столь высоко одаренный, с такими разнородными способностями, которые обычно исключают друг друга. Пушкин, перед поэтическим талантом которого преклонялись, изумлял слушателей живостью, ясностью и тонкостью своего ума. Была у него необыкновенная память, утонченный вкус, определенность суждений.

Когда он говорил о политике — иностранной или внутренней, — слушателям казалось, что перед ними человек, посевший в государственных делах и читающий ежедневно отчеты о заседаниях всех парламентов. Я знал Пушкина близко и довольно продолжительное время. Считал его за человека впечатлительного, иногда легкомысленного, но всегда искреннего, благородного и открытого».

### ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА (Л. РЕТТЕЛЯ)

(Париж, июль 1880 г.)

Безмерно жалко, что статья Адама Мицкевича о Пушкине, опубликованная во французском литературно-художественном журнале *Le Glob* (25 мая 1837 года), не вышла из-под его пера на польском языке. Является она одним из прекраснейших образцов критики сжатой, а вместе с тем исчерпывающей. Чувствуется в ней спокойствие, живая симпатия, простота, искренность — все это могло бы дать много поводов для размышления не одному молодому поэту. Появилась она тотчас же, как только пришла в Париж весть о трагическом и столь неожиданном конце Пушкина. Оттого-то заметно в ней немалое волнение — правда, больше в тоне, нежели в словах, обычно употребляемых в подобных случаях.

Адам Мицкевич и Александр Пушкин были ровесниками.<sup>1</sup> Оба знали творения друг друга и высоко их расценивали. Первый — уже во всей зрелости своего гения, второй — полный возвышенных чувств, характерных для тех периодов, когда в жизни человека начинается новый путь и сознание новых обязанностей, о чем мы можем догадаться по некоторым местам некролога, набросанного Мицкевичем.

Что касается жизни самого Мицкевича в сердце России, то верно уж так ему было предназначено, как одному из виднейших участников борьбы между двумя народами, о которой он впоследствии поведал с кафедрой всему миру.<sup>2</sup> Всеми помыс-

<sup>1</sup> Мицкевич род. в 1798 г.

<sup>2</sup> Мицкевич начал свой курс славянских литератур в Collège de France в 1840 г.

лами тяготея к Западу, никогда бы он добровольно не оказался на берегах Невы или Оки, куда его ничто не влекло. Нет, это сам враг, не рассчитав, во вред себе, затащил его в свое логово. Здесь Мицкевич узнал то, что было самого чистого и светлого в русском народе, узнал также и надежды и стремления разных течений и партий.

Оттого он мог на долгие годы вперед рассчитать их ошибки и болезни, а значит и уяснить себе сущность русского царизма и самые сокровенные его глубины. Конечно, Козлову<sup>1</sup> и в голову не приходило, насколько он был прав, говоря о Мицкевиче Одынцу:<sup>2</sup>

«Взяли мы его у вас сильным, а возвращаем могучим».

Всем известен анекдот по поводу первой встречи Мицкевича с Пушкиным о тузе и козырной двойке.<sup>3</sup> Сам Мицкевич никогда не упоминал об этом анекдоте, за правдоподобность которого, разумеется, нельзя поручиться.

Впрочем Мицкевич был чрезвычайно скуп на рассказы о себе. Если же когда и приводил какой случай из своей жизни, то исключительно лишь в пояснение той или иной высокой мысли, которая его тогда занимала. В зрелом возрасте он не любил того, что во Франции называется *un bon mot*. Собrania французских литераторов были ему нестерпимы особенно потому, что на них охотнее всего состязались в остроловии. Мицкевич утверждал: доказательство величия Наполеона I усматривается прежде всего в том, что на протяжении всей его жизни за ним не числится ни одного *bon mot*, т. е. он не занимался остроумием ради остроумия.

Из дорожных писем Одынца польские читатели, конечно, знают много подробностей об энтузиазме, какой возбуждал Мицкевич в русских поэтах и ученых.

Особенно в Пушкине, считавшем его величайшим из современников. К этим письмам мы и отсылаем наших читателей: ведь там все факты, собранные на местах из уст самих русских.

В рассказах Мицкевича о Пушкине меня поразили всего больше следующие слова русского поэта, обращенные к Адаму: «Громадная разница между мною и тобой: ты — поэт народа

<sup>1</sup> Козлов Ив. Ив. — поэт (1779—1840).

<sup>2</sup> Одынец Антон (1804—1865) — польский поэт, путешественник, друг Мицкевича.

<sup>3</sup> Рассказывали, что Пушкин, встретясь в первый раз с Мицкевичем посторонился перед ним, сказав:

— Сторонись, двойка: туз идет!

А Мицкевич на это, уступая, в свою очередь, Пушкину дорогу, ответил:

— Козырная двойка и туза бьет!

угнетенного, а я — поэт народа-угнетателя. Отсюда и преимущество твое надо мной. Ты не поверишь, с какой радостью поменялся бы я с тобой местами».

Царская милость, о которой Мицкевич упоминает в некрологе, сильнее связывала и парализовала Пушкина, чем самые тяжкие преследования, которые ведь не в состоянии были сломать людей и более заурядных. То обхождение, какое встретил Пушкин со стороны царя, было вовсе не в обычае Николая. Потому-то оно и опутало так туго поэта. Очевидно, царь следовал тут совету какой-либо женщины: было в те времена несколько таких придворных дам, под влияние которых Николай иногда поддавал.

Однако явное нерасположение Пушкина к полякам обнаружилось после польского восстания в 1830 году. На каком-то публичном выступлении в Варшаве Лелевель<sup>1</sup> утверждал, что польская революция имеет друзей и среди русских. При этом он неосмотрительно, совсем без нужды, назвал имя Пушкина, о чем граф Строганов<sup>2</sup> немедленно уведомил поэта. Разумеется, Пушкин не мог обойти молчанием этого вызова. Ответил в печати, что если даже когда-нибудь в нем и таилась какая-либо симпатия к полякам, так это могло быть следствием ошибок неопытной его молодости. А теперь-де он потов скорее уйти в ссылку в Сибирь, чем позвать братски протянутую ему Лелевелем руку.

В произведениях Пушкина, помимо тех стихов, что приведем ниже, есть две строчки, написанные с определенным намерением оскорбить нас. Именно я имею в виду то место, где сопоставляются рифмы — «игрока» и «поляка»:

Не верю чести игрока,  
Любви к России поляка.<sup>3</sup>

Стихотворение Мицкевича «К моим друзьям русским» наполнило величайшей горечью сердца всех русских поэтов. Старый Жуковский, способствовавший до некоторой степени освобождению Мицкевича из царских лап, жаловался, и при этом совершенно неосновательно, что Адам обманул его. Как будто Мицкевич давал какое-либо обещание или мог быть связан в своих обязанностях поляка отношением личной дружбы к Жуковскому.

<sup>1</sup> Лелевель Иоахим (1786 — 1861) — польский историк, один из деятельнейших участников польского восстания 1830 г.

<sup>2</sup> Строганов Александр Григорьевич. В 1831 г участвовал в усмирении Польши.

<sup>3</sup> Стихотворение не принадлежит Пушкину.

Ведь такие узы имели бы еще меньшую силу, чем те, что связывали Пушкина в отношении Николая.

Пушкин же отозвался стихотворением, насыщенным глубокой горечью. Не дерзнул в нем не только назвать Мицкевича, но даже поставить хотя бы начальную букву его имени.<sup>1</sup> Мы приводим это стихотворение в переводе на польский язык. Оно свидетельствует о том, что несмотря на всю горечь, которую испытывал Пушкин, в нем жило все-таки истинное преклонение перед польским поэтом. Это произведение, вышедшее из-под пера русского, который в Польше никогда не бывал и не мог иметь представления о наших страданиях, глубоко тронуло бы нас, если бы не злополучные слова:

... Но теперь  
Наш мирный гость нам стал врагом и ныне  
В своих стихах, угодник черни буйной,  
Поет он ненависть.

Конечно, для нас нет никакого сомнения: Мицкевич никогда не льстил никакой толпе. Вся жизнь его свидетельствует о том, что он всегда стремился сбросить с себя все, что казалось ему несправедливым, поверхностным, условным, а потому он чаще всего должен был плыть против течения. Но как же случилось, что дух столь высокий, так искренно оценивавший Мицкевича, не почувствовал и не видел этого?

В Москве и в Петербурге положение Мицкевича было чрезвычайно опасно. Приходилось быть всегда начеку: ведь одно неосмотрительно сказанное слово могло его погубить. И тем не менее кто с большим правом мог так искренно обратиться к своим «друзьям-русским», как это сделал Мицкевич:

«Но к вам всегда я относился с голубиной простотой».

О связях Мицкевича с русскими литераторами и даже конспираторами слышал я много подробностей при разных обстоятельствах от него самого. Позволю себе тут привести то, что до сих пор не встречалось еще ни в его биографиях, ни вообще в печати.

Не всегда внушал он доверие на тех самых, довольно частых, банкетах, о которых упоминает Пушкин. На одном из них, когда со всех сторон осыпали Мицкевича похвалами и лестью, кто-то сказал:

<sup>1</sup> Стихотворение Пушкина:

«... Он между нами жил,  
Средь племени ему чужого...»

— Вот — ты уж никогда не будешь нашим врагом.

— Не верьте ему! — вскричал другой литератор. . . — Разве вы не заметили, что он ни разу не напился с нами так, как напиваемся мы. Доказательство большой с его стороны осторожности. Значит, он замышляет что-то, скрывает. Бойтся, как бы не проболтаться перед нами.

В другой раз, когда кто-то из Гагариных крепко обнимал его и целовал, уверяя в своей любви, Мицкевич ответил:

— Очень верю тебе, что меня любишь, да только на правом берегу Двины. А на левом, в Литве, ты бы не задумался меня отравить, если бы этого требовала ваша политика.

— Ах, как ты знаешь русских! — воскликнул Гагарин вместо ответа.

И поистине чудом Мицкевич, ведя близкое знакомство с декабристами и рассуждая с ними об их проектах будущей конституции, не был замешан в восстании, уцелел и потом, во время правительственного террора, когда велось следствие.

Своими дельными замечаниями, рассудительностью он словно обдавал холодной водой своих собеседников. Говорили раз о будущей палате депутатов. Мицкевич заметил, что если на депутатских креслах рядом с князем или высоким сановником будет сидеть какой-нибудь богатый московский или нижегородский купец, то последний никогда не осмелится противоречить мнению столь высокопоставленных особ из боязни получить по уху.

Всеми присутствующими замечание это было признано вполне основательным, и после долгих споров порешили на том, что депутатов надо будет наделить чином восьмого класса. Услышав это, Мицкевич громко рассмеялся.

Порой бывали разговоры и менее невинного свойства, хотя и за приведенный выше можно было угодить в Нерчинск. Как-то за шампанским революционное настроение поднялось до такой степени, что дошло дело до тоста: «Смерть царю!» И когда все с энтузиазмом хватились за бокалы, Мицкевич поставил свой на стол и не хотел пить.

В первую минуту все удивились, а потом поднялись крики, послышались обвинения в трусости, даже в измене.

Мицкевич в ответ заявил, что подобного рода тосты всегда являются бессильным и бесплодным бахвальством. Те, кто поднимают их, воображают, что уже совершили великий подвиг, успокаиваются и идут спать. А если кто в самом деле искренно желает смерти царя, тот пусть берет оружие и идет на царский дворец. Тогда он, Мицкевич, немедля, пойдет с ним.

Тут Бестужев бросился ему на шею. Страх, что за словами сейчас же может последовать и действие, вырезвил многих.

Стали доказывать, что восстание еще преждевременно: народ не подготовлен, не поддержит их. Поэтому лучше отложить дело до более благоприятного времени. А вскоре и разошлись по домам.

Мицкевичу об этом случае напомнил один из декабристов, избежавший каторги и Сибири и навестивший его в Париже в то время, когда Адам уже открыл свой курс славянских литератур.

В вопросах литературы Мицкевич имел, конечно, гораздо более веса, нежели в области политики. Суждения его были чрезвычайно метки, свободны и порой давали прекрасную картину общественной жизни русского государства.

Так, однажды зашла речь: хорошо бы создать настоящую народную русскую драму. Мицкевич предложил следующий план трагедии: сын высокопоставленного чиновника участвует в революционном заговоре. Отец его стоит на дороге заговорщикам. Постановили старика уничтожить. Тянут жребий: кому выпадет исполнить приговор. К несчастью, жребий достался сыну сановника. Молодой человек, несмотря на крайние душевные страдания, не колеблется выполнить казнь — и вот с кинжалом в руке стоит он перед отцом и объявляет ему об ожидающей его участи.

Отец пытается подействовать на чувства сына, говорит, как всегда любил его. Сын остается непреклонным. Старик подробно вычисляет свои расходы на его воспитание, хочет разжалобить его напоминанием о матери, о братьях и сестрах — ничто не помогает. Тогда отец, подняв голову вверх, говорит:

— Но ты забыл, что я статский советник?

И тут только сын поддался: у перетрусившего юноши нож вываливается из рук и падает к ногам старика.

Смеялись. А был ли то смех искренний — не знаю.

Князь Вяземский<sup>1</sup> прежде всех ознакомился с рукописью «Валленрода»,<sup>2</sup> оценил его по достоинству и помогал ему изо всех сил проскользнуть сквозь цензуру.

---

<sup>1</sup> Вяземский П. А. — поэт и критик (1792—1878), когда-то вольнодумец, друг Пушкина, под старость реакционер.

<sup>2</sup> «Конрад Валленрод — поэма Мицкевича. Последнее издание на русском языке появилось в свет в 1916 г. в Петрограде, в издательстве «Жизнь и знание», под названием «Адам Мицкевич. Конрад Валленрод. Историческая повесть. Вступление Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Перевод М. Славинского. (Ц. 60 к.)».



Было так. Мицкевич с величайшей радостью узнал, что цензором в Москве назначили Мещерского, с которым он познакомился еще в Одессе, при генерале Витте. Адам видел, что последний третирует Мещерского, даже презирает его. С своей стороны, Мещерский, заметив что Мицкевич состоит в довольно коротких отношениях с генералом, льстил поэту и всячески старался к нему подделаться. Часто навещал его, показывал ему разные фокусы: ползал по полу, глотал разложенные на ковре монеты, которые оказывались потом в карманах, и т. д.

Когда Мицкевич рассказал Вяземскому о своих надеждах без труда уладить дело с новым цензором, Вяземский покрутил головой и сказал:

— Не знаешь ты еще русских.

И в самом деле, Мещерский принял их с важной миной, а напоминовение Мицкевича о давнем их знакомстве встретил очень холодно. Затем заявил, что хотя, как уверяет князь Вяземский, поэма, разрешения печатать которую добиваются, заимствована из хроник крестоносцев, тем не менее он, цензор, своей визы так легко не наложит: ведь тут могут быть известные политические намеки. На нем же лежит большая ответственность, поэтому он должен сначала тщательно просмотреть всю рукопись.

Оба литератора, видя, что не так-то просто устроить дело с цензором и даже опасно оставлять в его руках поэму, поскорее удалились, пожелав хозяину доброго здоровья.

Вопреки ожиданию, «Валленроду» повезло с цензурой в Петербурге: поэму напечатали. Но опасная буря собралась на него в Варшаве. Там искусным критиком объявился Новосильцов, вовсе не вдававшийся в эстетику.

Царь находился в ту пору в армии Дибича, за Дунаем. Обширный доклад, доказывающий, какая великая опасность для России кроется в поэме, попал в штаб главнокомандующего, где у Мицкевича не было недостатка в поклонниках. Николаю был он подан в ту пору, когда тот, упоенный решительным превосходством русских войск над турецкими, был в наилучшем настроении. Да не располагал он и временем читать обширное донесение Новосильцова. Все внимание его было устремлено на то, как бы новым трактам опутать Турцию, чтобы в будущем она не могла избегнуть сетей России. Послал он записку Новосильцова в Петербург, приказав назначить комиссию для расследования по доносу и подать царю рапорт.

В эту комиссию, составленную из трех лиц, попал Жуковский, истинный почитатель Мицкевича; другой — не литератор, но

зато старинный друг Мицкевича; третий — особа недалководная и привыкшая опираться на мнение большинства. Не удивительно поэтому, что рапорт был составлен в самом благоприятном для Мицкевича смысле. Дерзнули даже вставить в него несколько слов о преследованиях, ничем неоправданных, польской молодежи.

Николай или не мог, или не хотел заняться ближе этим делом, тем более, что отношения между Варшавой и Петербургом, т. е. между ним и великим князем, были несколько натянуты. Столь милостивым настроением царя не замедлили воспользоваться. Некоторые влиятельные лица стали хлопотать о разрешении Мицкевичу выехать за границу. И неожиданно оно было получено.

Так вот оно и вышло: «Валленрод», который по расчетам Новосильцова должен был окончательно погубить Мицкевича, послужил поводом для его освобождения.

Нельзя себе представить радость Мицкевича, когда он очутился за Кронштадтом на корабле, плывущем в Гамбург. Он готов был раздать все, что при нем было, но раздавать-то оказалось некому. Засовывая руку в карман, он вынимал оттуда друг за другом копейки, полтинники, рубли, и, видя на каждом двухголовое московское чудовище, с ненавистью, а вместе и с детским наслаждением бросал их в воду. К счастью, подошел к нему какой-то чужеземец и шепнул на ухо:

— Что вы делаете! Ведь мы еще в Балтийском море. Поднимись буря — нас ведь, пожалуй, загонит в какой-нибудь русский порт, а там вас могут арестовать за оскорбление величества.

И в самом деле, корабль вынужден был зайти на несколько часов в Ригу.

Но никто не донес на поэта.

Заканчивая эту часть — о «друзьях русских», — составленную, правда, из мелких подробностей, но в общем не лишенную цельности, не могу обойти молчанием одного случая, о котором Мицкевич рассказывал всегда с некоторым волнением.

Он заметил, что среди богатых купцов, как в Москве, так и в других городах, встречаются люди большого прямоты и честности, с высоким сознанием собственного достоинства, каких между чиновниками не легко найти.

Живя в Москве, он часто посещал дом некоего состоятельного горожанина-купца, жена которого известна была своей образованностью. В салоне ее собирались литераторы, люди высокого образования и ума. Муж этой дамы обыкновенно не вступал ни в какие разговоры с ее гостями. Только когда Мицкевич

собирался уж покинуть Москву, хозяин отвел его в сторону и обратился к нему с такими словами:

— Я слышал, что ты — человек очень умный. Что до меня, то я ничего не смыслю в таких делах, предоставляю тут судить жене. Однако не раз я смотрел тебе в глаза и наблюдал тебя больше, чем других, потому что ты поразил меня больше, чем другие, и я убедился: ты — честный человек. Вот ты уезжаешь, но помни: в Москве живет NN, который почитает и любит тебя. Если постигнет тебя какая нужда — что ведь с каждым может случиться — напиши мне коротко вот так: «пришли мол столько-то». И будь уверен, — я не остановлюсь перед такими пустяками. У меня слово — одно, и я его всегда держу.

Мицкевич хотел допытаться: чем он обязан столь лестному мнению о нем хозяина. Тот некоторое время колебался, но в конце концов сказал:

— Вот видишь ли, было у нас, в России, тревожное время, и после восстания, при восшествии на престол нынешнего царя, стало опасно жить в Петербурге. А ты, хоть и знался коротко с декабристами, ходил не только спокойней других, ты не спрятал даже вашего польского белого орла, что у тебя вон и сейчас на шпильке от шейного платка.

Из «друзей-русских» и почитателей Мицкевича всех лучше умел его оценить, полюбить и остаться до конца ему верным князь Вяземский. Человек большого ума и образования, очень богатый, светский и симпатичный, всюду возбуждавший к себе внимание. Он пользовался большим влиянием и при дворе, где занимал высокое положение. Смелей и свободней других был и в выражении своих мыслей и чувств — не только громко, в салонах, но и в сочинениях. Был это, пожалуй, единственный из друзей Мицкевича, который мог чаще путешествовать по Европе и каждый раз навещал Адама в Париже. Тут я и встречался с ним. Ему-то и обязаны мы разрешением печатать «Пана Тадеуша» и некоторые другие вещи Мицкевича в Варшаве.

Заменяя в течение нескольких дней министра внутренних дел, он ясно доказал Александру II, что произведения Мицкевича известны в переводах почти всей Европе, а потому запрещение их в России выставит ее в невыгодном свете. Таким образом разрешение на издание Мицкевича, что обычно относится на счет либерализма Александра II, исключительно заслуга Вяземского.

# З В Е Н Ь Я

СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ  
ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННОЙ  
МЫСЛИ XIX ВЕКА.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧА,  
Л. Б. КАМЕНЕВА И А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

III—IV

А С А Д Е М І А  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД  
1 9 3 4